



Михаил Смирнов

г. Салават

Люди-птицы

Алёшка, сидевший на крылечке, потёр красные воспалённые глаза и поёжился, поправляя старую куртку. Казалось, солнце пригревает, а потянет ветерок, и сразу знобит. Что ни говори – осень на дворе. Он вздохнул. Вот уж который день не спит. Вроде закрывает глаза, а сон не идёт. Всё бабу Шуру вспоминает. К ней привязался, когда родители померли. Баба Шура забрала его к себе. Одна жила.

Дед Василий давно пропал. Вышел на двор и исчез. Долго искали, но не нашли. Разное говорили в деревне, будто он с нечистой водится, но чаще дурачком называли, но баба Шура никого не велела слушать. Говорила, что дед Василий хорошим мужиком был. Пусть у него мозги набекрень и со своей чудинкой, но все люди такие же, как дед, и ничем не лучше, а может, и похуже, но скрывают это. И обещала, когда Алёшка вырастет, рассказать про него. Алёшка остался жить с баб Шурой. В школе слабовато учился. Бог ума не дал, как соседи говорили. Учителя махнули рукой, что толку тратить на него время, если ветер в голове гуляет. В одно ухо влетает, а из другого со свистом выскакивает. Сидит на уроках и ворон в небе считает. А бывало, по осени, когда птицы собирались в стаи, Алёшка выскакивал из класса и начинал кружить по двору, словно взлететь пытался. Девчонки смеялись и дураком обзывали, а мальчишки нередко лупили его, а он ни на кого не обижался. Он смотрел на всех и улыбался – широко и радостно. Учителя головой качали, мол, бабка Шурка, ты намучаешься с внуком-то. А когда тебя не будет, совсем пропадёт паренёк. И советовали, чтобы сдала его в детдом или в специальный интернат, где такие же живут, как он, а то и похуже. Убогие – одним словом. А баба Шура хмурилась и начинала грозить всеми земными и небесными карами, за то что живого человека хотят на погибель отправить, и говорила, что костями ляжет, но не отдаст родного внука. Пусть мозги набекрень, как у деда Василия, но он же человек – это главное! Как же можно взять и своими руками родную кровиночку в интернат отдать? И грозила скрюченным пальцем...

Баба Шура повезла внука в райцентр, врачам показала. Может, таблетки или микстуру выпишут, чтобы умишка прибавилось. Всего лишь капельку, а больше и не нужно. Жалко внука, к жизни не приспособлен. Врачи руками развели. Если своего ума нет, чужого не добавишь. Хворобу в башке нашли. Какое-то наследство передалось, как баба Шура всем говорила, а потом смеялась, что богатым будет внук-то и справки показывала, а что там понаписали врачи, чёрт ногу ломает. Махнёт рукой баба Шура и мелко засмеётся, прикрывая беззубый рот уголком косынки. А потом пристроила Алёшку в мастерские. Пусть полы подметает да всякие железяки таскает, чем сиднем сидеть дома. Глядишь, копеечку заработает. Какая-никакая, а помощь. Там Алёшке понравилось. Особенно, когда разрешали в кабине посидеть. Вот уж ра-

довался! И Алёшка стал в мастерской пропадать с утра до вечера. Особенно, когда посевная или уборочная, когда каждая пара рук на вес золота, даже руки убогонького. Вернётся домой, усядется за стол, а сам носом клюёт. Не успеет улечься, уже засопел. И почти всегда один и тот же сон, будто баба Шура стоит возле калитки и ладошкой машет ему, словно подзывает, чтобы поторопился, а сама улыбается и вся светлая-светлая. Родители не снились. Ни разу. Потому что не помнил их. Так, какие-то образы мелькали и всё. И деда Василия не видел, только на фотографии. А баба Шура всегда во сне приходила. Наверное, успевал соскучиться за день. А она жалела его, всё расстраивалась, как он будет жить с птичьими мозгами, если ни к чему не приспособлен. Всё дожидалась, что старшая дочка приедет. Надеялась, что Алёшку к себе заберёт. И не дождалась. Померла. Тихо ушла, незаметно...

Осень на дворе. Пусть солнце не такое яркое и тёплое, а всё же согревает, но ветер прохладный. В теньке сидишь, как задует, аж сразу начинает знобить. Осень, ничего не поделаешь... Вон дедка Ефим выбрался из дому, не стал на крыльце сидеть, а на лавочку подался, где солнца побольше. На улицу вышел, чтобы с баб Шурой попрощаться, в последний путь проводить, а потом на лавочке старые кости погреть, покуда солнышко тёплое. Сидит в зимнем пальто с потёртым и облезшим воротником, в шапке, очки на кончик крупного носа сползли, а он не поправляет. Видать, пригрелся и уснул, притулившись к забору. Сидит старик, посыпыхивает...

Алёшка вздохнул и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся вдаль. Там желтел густой лес, а опушка покрылась пятнами: где-то зелёные мелькают, в других местах пожухлая трава, а там чернью отдаёт. Издалека донёсся птичий гомон. Алёшка задрал голову, взглянул вверх и не удержался. Вскочил и завертелся на одном месте, размахивая руками, словно крыльями, а сам засвистел, будто с птицами разговаривал, и так тоскливо, так больно, словно жаловался, что баб Шура померла, что один остался... Птицы закружились над головой, загомонили, точно за собой звали, а потом скрылись за лесом. Следом за ними потянулась огромная стая. Вон полнеба закрыли. Гомонят и гомонят... В осенние дни Алёшка места себе не находил. Закружат птицы над головой, и тут же словно душу в кулак сжимают. Непонятная тревога охватывала, тоскливо становилось на душе, как-то неуютно, но в то же время был необъяснимый восторг, и ему хотелось разбежаться, вытянуться в струнку, взмахнуть руками, закричать громко и протяжно, взлететь над деревней и помчаться вслед за птицами...

– Алёшка, ну-ка прекрати! – крикнула баба Шура и нахмурилась, когда впервые заметила, что он, раскинув руки, мечется на краю высокого обрыва, а над головой кружилась стая птиц. – Отойди от края. Упадёшь. Костей не соберёшь. Уйди, пока не отлупила! Весь в деда уродился. Таким же был – мозги набекрень. Узнала про это, да поздно. Замуж выдали, а потом сказали, будто у моего Васьки с головой не в порядке. Вся деревня потешалась, когда он в птицу превращался, – и опять закричала, намахнувшись тряпкой. – Ну-ка, хватит кружиться, живо по заднице надаю. Кыш, кыш отсюда! Ишь, разлетались! Мало, один пропал, так ещё и внука за собой тащите. Летите отсюда, летите, – и тут же повернулась к Алёшке. – Твой дед Василий начинал чудить, когда осень наступала, и птицы в стаи собирались. Он следом за ними рвался. Говорил, что душа мается, места не может найти. Встанет посередь улицы, задерёт бошку и смотрит в небо, где птицы кружат, а сам квохчет, вскрикивает, словно с ними разговаривает. И птицы ниже опускались, тоже криком исходили. Столько было, что белый свет застилали. А твой дед Василий раскинет руки в стороны и начинает кружиться и хлопает себя по бокам, хлопает, словно крыльями, а потом взмахнёт руками, тоненько вскрикнет, словно прощается с ними, и птицы выше поднимались, ещё кружочек делали над двором и улетали. А дед усядется посередь дороги и с тоской глядит вслед. И так до следующей стаи. И так, пока последние птицы не улетят... А потом дед Василий пропал. Вышел на двор. Всё на крыльчке курил и прислушивался, как птицы летели. Я выглянула – он кружится по улице, руками машет. Позвала, а он не слышит, на небо смотрит, и отовсюду птицы кричали, словно за собой звали. И так мне тоскливо стало на душе, аж в груди защемило. Вышла на двор, гляжу, на крыльчке папироски лежат, спички, а деда Василия нет. Думала, может к кому-нить подался. Всё ждала, что

вернётся, ан нет, так и пропал, и до сей поры не могут найти. Может, птицы забрали с собой, а может, рассудок потерял и теперь лежит в какой-нибудь больнице с решётками и даже имени своего не помнит. Никто не знает, где он, и я – тоже...

И баба Шура посмотрела на тёмное небо...

Алёшка поднялся. Потоптался на крылечке и с неохотой зашлёпал в избу. Сегодня снесли на мазарки бабу Шуру. Она лежала, как принято, три дня в избе, и каждый раз, когда свечи догорали, кто-то из старушек, что сидели возле гробика, неслышно поднимались и меняли свечи, зажигая новые, и опять присаживались на лавку, горестно покачивая головой. Это дядька Кондратий смастерил гробик. Небольшой. Лёгонький, как сама бабка Шура. Алёшка хотел помочь ему, но дядька Кондратий прогнал. Велел возле двора сидеть и никуда не уходить. Соседки приходили, обмыли, переодели в смертную одежду, какую Алёшка вытащил из старого сундука – это давным-давно бабка Шура показала и велела, ежели она преставится, отдать соседям, а они разберутся, что к чему. Так и получилось...

Бабка Шура тихо, неприметно прожила свою жизнь. И ушла так же тихо. Правда, последние дни твердила, как же Алёшка останется один. Он же не знает эту жизнь, не приспособлен к ней, потому что у него своя жизнь, более понятная для него, где чужим не место. Ему легче с птицами разговаривать, и, как казалось, они понимали его, чем быть с людьми, которые его прогоняли и смеялись над ним – убогоньким. А если баба Шура помрёт, тогда Алёшка может пропасть без неё, как когда-то исчез дед Василий. Вон уже птицы кружат над двором – его высматривают, как бы с собой не забрали. И тыкала пальцем в потолок. Расстраивалась. И в последний день, ближе к вечеру, всё возле Алёшки ходила и печалилась, что один останется на белом свете, и норовила дотронуться до него, по плечу или голове погладить, а он отдёргивался и хмурился. Не нравилось, словно маленького гладит, а он же большой. За окном темно было, когда они собрались спать. Бабка Шура долго сидела на кровати, глядела на него, что-то шептала, а может, молилась, а потом перекрестила его, спящего, и задёрнула занавеску.

Алёшка проснулся утром, в доме тишина, лишь ходики отсчитывали секунды, и запоздалая муха сонно колотилась в окне, а потом притихла. Он поднялся. Вышел на улицу, постоял на крыльце. Не слышно бабки Шуры, зато птицы кружились над двором. На него пикировали и опять взмывали, а на их месте другие появлялись и снова взлетали, а сами криком исходили, словно что-то рассказывали. Алёшка встрепенулся, опять появился какой-то непонятный восторг. Хотелось спуститься во двор, взмахнуть руками, словно крыльями, закричать протяжно и... И следом навалилась тоска, словно к земле придавила, аж дышать тяжело стало. Он оглянулся. Куры бросились к нему, думали, корм насыплет, а он нахмурился, опять взглянул на небо, махнул рукой птицам, чтобы прочь летели, и скрылся в избе. Зашёл в горницу. Отдёрнул занавеску, где стояла кровать бабы Шуры, и уселся на табуретку, что рядом стояла. Казалось, баба Шура спит. Морщинистые руки на груди сложены, а лицо какое-то светлое и спокойное, а по щеке муха ползала, а она лежала и не прогоняла её. Алёшка посидел возле кровати, несколько раз окликнул бабу Шуру, потом дотронулся до руки и отдёрнул. Холодная она – рука-то...

– Баб, вставай, баб, – забубнил Алёшка и снова дотронулся. – Почему лежишь, а? Дай хлеба... Но баба Шура не шевелилась.

Алёшка опять завздыхал, закрутил лохматой башкой, не зная, что делать, поддёрнул одеяло, прикрывая бабу Шуру, опасливо прикоснулся к руке и опять отдёрнул, потом поднялся и поплёлся к соседке, к тётке Зине, которая частенько его подкармливала, то яблочко совала, то пряник.

– Это... Теть... – он сунулся в дверь и затоптался возле порога. – Это... Бабака не встаёт. Я кушать хочу.

И замолчал.

– Как не встаёт? Давно утро, а она... Да неужели померла, – она заметалась по избе. – Я ж вчера с ней говорила. Она всё за тебя тревожилась, да старшую дочку ругала, что не приезжает, а потом взяла молочка, сказала, что кашку потомит в печи, и ушла. Как же так, а?

И прижимая руки ко рту, опять качнула головой.

– Она лежит, – пожимая плечами, повторил Алёшка. – Я проснулся. Подошёл, а она лежит. Холодная. Одежку поправил. Бабака замёрзла.

Сказал и зябко передёрнул плечами.

– Ой, божечка, беда пришла, – запричитала тётка Зина, рот платком прикрыла и закачала головой, а потом вздрогнула от окрика и засуетилась, повернулась к мужу, который сидел за столом. – Петь, а, Петька, накорми паренька. Чать маковой росинки во рту не было. Налей вчерашних щец. Вкусные – страсть! – она причмокнула, закачала головой, потом подтолкнула Алёшку к столу, а сама подалась к дверям. – Петька, обойди мужиков. Пусть могилку копают. Проследи за ними. Я в правление сбегая, начальству сообщу, потом бабок покличу и за монашкой зайду. А ты, Алёшка, когда покушаешь, посиди на лавке. Не входи в избу-то, не путайся под ногами – не мужицкое дело покойницей заниматься. Сами управимся, а тебя покличем, когда понадобится.

Сказала и умчалась, хлопнув дверью.

Алёшка изредка подходил к двери, стоял на веранде, прислушиваясь к тихим голосам, но войти не решался. Тётка Зина ругать начнёт, ежели заметит. Заскрипела дверь. Вышел дядька Кондратий. Сунул в карман складной метр. Постоял, задумавшись. Потом коряво написал цифры на клочке бумаги, посмотрел на Алёшку, хотел было что-то сказать, но махнул рукой и, надвинув фуражку на глаза, заторопился со двора. Алёшка подался следом за ним и вернулся, когда его прогнали. Постоял возле двора, посмотрел, как дядька Кондратий захромал, подтягивая ногу с протезом, и размахивал руками, когда оступался. Взглянул на занавешенные окна, а потом уселся на лавку возле забора. И стал ждать, когда его позовут. Он сидел, поглядывая по сторонам, смотрел на старух, которые заходили в избу, а некоторые так и норовили погладить по голове, как делала баба Шура, но Алёшка отдёргивал голову и хмурился. Не любил, когда его гладили, как маленького. Старухи уходили, а он продолжал сидеть. Услышав гомон птичьей стаи, Алёшка поднимал голову и с тоской посматривал на птиц, которые проносились над головой. Поднимался и, размахивая руками, начинал кружиться на траве, криками подзывая птиц, и рассказывал им, что произошло, а они метались над головой, за собой звали. И Алёшке хотелось разбежаться, взмахнуть руками и полететь вслед за птицами. Он бы полетел, да нельзя, как же бабу Шуру оставит одну-единёшеньку. Алёшка встрепенулся и опять посмотрел на птиц. Баба Шура говорила, что птицы – это души людские. Его ругала, что с ними разговаривает, прочь гнала, а сама вслед ушла. Видать, правду говорила бабака, что души людские – это птицы...

– Врёшь ты, бабака, – отмахнулся Алёшка, когда она опять взялась ругать его, что кружился на краю высокого обрыва, – что птицы – это души. Птички маленькие, а люди вон какие большие. Обманываешь...

Сказал и тут же получил подзатыльник.

– Нельзя так говорить, ежели не знаешь, – баба Шура погрозила пальцем. – Ишь, умник-полоумник, выискался! Мне ещё отец твоего деда Василия говорил, что души переселяются в птиц. Ага... Вот каким был человек в жизни, его душа в такую же птицу перебирается. И не спорь со мной, Алёшка, потому что умишка в тебе – кот наплакал! Вот, к примеру, взять плохого человека. Как ты думаешь, в какую птицу попадёт его душа, а? – и бабка, подбоченясь, взглянула на Алёшку, который сидел и молчал. – Правильно думаешь – в плохую птицу. Если человек обманывал в жизни, воровал и на других вину перекладывал за дела содеянные, его душа окажется у кукушки или в сороку-воровку переселится. Что смеёшься-то, злыдень! – и она опять намахнулась. – У чёрного человека, душегуба какого, душа попадёт в ворону-падальщицу и будет до скончания веков дохлятиной всякой питаться. Ага... А ежели светлый человек был или, не дай Бог, ребёночек помер, а у них-то души всегда чистые, значит, тому дорога к светлой птице.

– Ага... – недоверчиво протянул Алёшка. – А куда дядька Еремей попадёт, который всё стучит и стучит большим молотком, аж страшно становится, когда к нему заглянешь. Как же он в птицу залезет? – он засмеялся, плечики затряслись, а потом затих, задумавшись, и опять

сказал. – А наша деревня тоже в птичек заберётся, а куда всякие артисты переселятся, которых по телеку показывают, а?

И Алёшка опять засмеялся, прыгал с пятого на десятое, задавая вопросы.

– Ишь, разговорился! То слово из него не вытянешь, а тут не остановишь. Куда... – бабка Шура задумалась, а потом кивнула. – Дык это же... У души дядьки Еремея одна дорога – это птица, которая дятлом зовётся. Ну ты видел этих дятлов, когда в лес ходили. Вот и Еремей привык по наковальне стучать, а помрёт, душа к дятлу отправится, и опять-таки начнёт своим делом заниматься, как при жизни. Деревня, говоришь... Мы же привыкли работать, каждый день земле-матушке в пояс кланяемся. Вот и получается, что переберёмся в грачей. Ты видел грача. Такие важные весною ходят по полям. Также кланяются, корм добывают. Наши душеньки к ним отправятся, и опять начнём поклоны отбивать, как при жизни было. Что касася артистов... – бабка Шура поджала губы, нахмурила и без того морщинистый лоб, потом сказала. – Одни в соловьёв перебираются, другие в дроздов, в общем, кто куда, а самые знаменитые и голосистые – эти в жаворонков. Ага... Ты, Алёшка, не гляди, что жаворонок – птичка-невеличка, зато её вон как с небес слышать. Звенит голосочек-то! И людям радость несёт, и к Боженьке поближе. Поэтому и говорю, что у каждого человека своя птица, и у тебя – тоже. Ага...

И утвердительно ткнула пальцем в потолок.

– Баб, а где твоя птичка? – Алёшка долго молчал, видать, старался понять, о чём говорила бабака, потом спросил. – А где она?

И задумчиво поглядел на сухонькую бабу Шуру.

– Моя-то? – усмехнулась баба Шура и поправила платок. – Я стану курочкой Рябой. Яички буду для тебя нести. Ты ж из избы не выйдешь, пока парочку не скушаешь, а с улицы возвратишься, с пяток можешь умять за один присест, а то и поболее, и глазом не моргнёшь. Наши курочки не успевают нестись для тебя. Хочу или не хочу, а придётся в несущку превращаться, чтобы ты с голодухи не помер.

И тоненько засмеялась.

Вслед за ней рассмеялся Алёшка, представляя баб Шуру несущкой...

Сегодня снесли бабу Шуру на мазарки. Остался лишь небольшой холмик и неуклюжий крест, да ещё веночек и маленькие букетики ярких осенних цветов. Видать, в школьном саду сорвали. Соседки пришли проводить в последний путь бабку Шуру. Поплакали возле могилки, когда её опускали, а Алёшка стоял, смотрел на неё, а потом задира голову, чтобы взглянуть на стаи птиц, и ему хотелось взмахнуть руками, взлететь и помчаться вслед за ними. С кладбища все отправились в дом бабы Шуры. Тётка Зина с бабками щи сварили и лапшу, кто-то кутью приготовил, а баба Вера кашу принесла. Откуда-то пироги на столе появились. Всё сделали соседи, чтобы проводить бабу Шуру и помянуть её. Недолго сидели за столом. Мужики стопки подняли. Выпили. Алёшка сидел в уголочке. Сгорбился. Глядел, как поминали, как едва слышно разговаривали. Потом стали расходиться. Две соседки остались. Всё убрали, помыли и тоже ушли.

– Алёшка, – дверь распахнулась и появилась тётка Зина. – Слышь, никуда не уходи. Дома сиди или во двор выйди. Я все дела переделаю, а потом за тобой приду. Пока у нас побудешь. Может, твоя тётка приедет. Телеграмму отбили. Ну а не появится, тогда в интернате станешь жить. У себя не могу оставить. Извиняй!

Она развела руками, поправила платок и ушла.

Алёшка остался один...

Он долго сидел и смотрел в щелку между ставнями, а потом не выдержал, вышел на улицу. Сегодня тепло. Алёшка вздохнул. Взглянул на солнце и прислушался. Яркий день и тишина на улице. Казалось, всё притихло в природе. Лишь берёзки золотом горят, а трава уж пожухла, прижалась к земле, прислонилась – зиму дожидается. Откуда-то донёсся запах дыма. Видать, старую ботву сжигают на огородах. Туманом стелется дымка, скрывая округу. Тишина... Нет, издали донеслись крики птиц, и сразу же душу сжало в кулак, тоска накатила, а вместе с ней непонятный восторг, и едва птицы показались в вышине, опять потянуло

за ними и снова захотелось разбежаться, раскинуть руки, взлететь и помчаться вслед за птицами...

Алёшка встрепенулся. Оглянулся на дом. Показалось, баба Шура позвала. Взглянул и тут же поник. А потом закутался в куртку и притих. Солнце яркое, дымка плывёт по огородам, всё призрачно до синевы, а здесь холодно. И птицы покоя не дают. Кружат и кружат над головой. Видать, за собой зовут. А может, среди них и душа бабы Шуры. Алёшка задрал голову, стараясь рассмотреть птиц. Вот одна пошла вниз и закружилась над двором, словно присесть хотела, а потом жалобно вскрикнула и помчалась вслед за стаей...

Поднявшись, Алёшка осмотрелся. Дед Ефим, что напротив живёт, так и сидел возле двора. Видать, пригрелся. Хорошо ему. Задремал... Алёшка зашёл домой. Тишина в доме. Все звуки с улицы приглушены закрытыми ставнями. Тик-так, тик-так – качается маятник на старых часах, что висели в горнице. Алёшке, как казалось, часы всегда здесь висели. Старые. Циферблат уж давно облез да потемнел, и цифр на нём не видно, а маятник продолжает качаться, отсчитывая секунды жизни: тик-так, тик-так, тик... Алёшке нравилось смотреть на маятник. Усядется возле стола, смотрит на него, прислушивается к звукам, и сам качается как маятник. И так сидел до тех пор, пока баба Шура не прогоняла его. А сегодня бабу Шуру закопали, а часы всё тикают и тикают, отсчитывая секунды. И сколько они ещё будут работать – никто не знает, и Алёшка – тоже...

Он стоял в дверях горницы, но не проходил. В горнице темно. Лишь редкие лучики солнца пробивались через закрытые ставни. Густой запах воска, тлена, каких-то трав и тянет лекарством. Зеркало завешено, на телевизоре накидка, окна закрыты. Пусто в доме. Лишь на стенах несколько фотографий в рамках, и всё. Да ещё кошка промелькнула, припав к полу, и исчезла на кухоньке, скрывшись на печке. Под полом заскреблась мышь, и тут же пробежала кошка. Неслышно скользнула по горнице и опять скрылась. Алёшка медленно подошёл к фотографиям. Баба Шура говорила, что это отец и мать, а Алёшка не помнил родителей. Так, что-то мелькало в голове и тут же исчезало. Он взглянул на фотографию. Отец хмуро и напряженно смотрел перед собой, а мать, наоборот, улыбалась. А сегодня бабу Шуру закопали. Нет, её душа с птицами улетела...

Алёшка вышел из горницы. Потоптался на маленькой кухоньке и присел в уголок, где всегда сидел, и прислонился к обшарпанной стене. Опять мелькнула кошка. Муркнула, а потом притихла. Видать, тоже чует, что одни остались. Он скрипнул табуреткой. Взглянул на окно, закрытое ставнями. Сквозь узкую щель пробиваются последние лучи солнца...

Тихо в доме. Изредка осенняя муха зажужжит, забьётся и притихнет. С улицы донеслось мычание коров – это стадо под окнами прошло, а вскоре затихло вдалеке, лишь редкий раз в проулках блеяли овечки, отбившись от стада. Взлаивали собаки лениво так, словно напоминали, что службу свою несут, хозяйское добро стерегут. Протарахтел мотоцикл. Видать, кто-то поехал кататься. Молодёжь собиралась в берёзовой рощице, что стояла на взгорке над рекой. Там собирались. Сидели до первых петухов, ребята показывали свою удаль, гоня на мотоциклах, а те кто постарше, парами расходились вдоль речки, находили укромные места и сидели до рассвета...

Он долго сидел на крыльце, дожидаясь, когда тётка Зина придёт. Потом прислушался. Со стороны обрыва донёсся птичий гомон. Алёшка затоптался. Тоскливо стало на душе, и в то же время появился непонятный восторг. И Алёшка не удержался. Неуклюже побежал по меже между огородами. Он бежал, размахивая руками, словно крыльями. В сумерках казалось, будто летит. Алёшка выскочил на обрыв и закружился, раскинув руки. Защёлкал, засвистел, птиц подзывая, потом взглянул ввысь, а небо над ним – яркое, тёмно-синее и бездонное. Опять восторг и захотелось взлететь. Он вытянулся в струнку, взмахнул руками и с обрыва шагнул в небо. Шагнул и закричал – громко, восторженно, и замахал руками, словно крыльями, и полетел. Он летел над деревней, над лесами и полями, над реками и озёрами, и отовсюду к нему присоединялись такие же люди-птицы, чьи души в птиц превратились, и они стали подниматься всё выше и выше в синь небесную, навстречу солнцу, и вокруг него был яркий и тёплый свет...

А над деревней опустилась ночь...